

Игорь Губерман: «СМЫСЛ ЖИЗНИ В САМОЙ ЖИЗНИ»

Беседовали Дмитрий Злодоров, Дарья Токарева

Игорь Губерман считает себя идиотом и, что самое интересное, не скрывает этого. Но в своих стихах он и философ, и легкомысленный лирический герой, и Пьеро, и Арлекин. Набралось этих «гариков», как называет свои произведения сам автор, вместе с прозой пять томов. Недавно они опубликованы екатеринбургским издательством «У-Фактория». Сам поэт называет это собрание сочинений неполным. «Полного пока нет — я, ласточки мои, жив еще», — объясняет он. Наша беседа началась с разговора о книге.

— Очень красивый, между прочим, пятитомник. А еще вышли три тома в издательстве ЭКСМО. В Екатеринбурге назвали это «Впервые полный Губерман». Туда вошли стихи и много прозы, немножко воспоминаний.

— Вы как-то пренебрежительно называете свои стихи «стишками».

— Так они же коротенькие. Стихи — это когда длинные, «лирические». Называйте их поэмами — ваше дело.

— Ваши стихи, конечно, веселые. Но когда читаешь их, почему-то кажется, что они грустные...

— А вы, наверное, перечитываете. Много не читаете — тогда осадок остается, 2–3 раза достаточно. От всего смешного остается чудовищный осадок — вспомните Чаплина.

— Стихи пишутся от боли, от желания что-то изменить?

— Н-е-т. Я уже немолод и прекрасно понимаю, что изменить ничего невозможно. Иллюзий нет. Стишки — это гормональное состояние, они просто, как желчь, выделяются из печени — и все. Никого перевоспитать я не надеюсь. Может, прочитав мои стишки, кто-нибудь станет более беспечным, что я считаю хорошим состоянием человека. Мне говорили, что люди после моих стишков светлее смотрят на мир, но так ли это на самом деле, кто ж проверит.

— А как они пишутся? Содействует ли этому Россия?

— Я не знаю, что больше содействует — Россия, Израиль или пищеварение. Не вижу прямой связи между жизненными впечатлениями и стишками. Вдруг в чужой книжке увижу интересную мысль, которую нужно немедленно срифмовать, — ведь украденное нужно пря-

тать в «авоську» из рифм. Или кто-то что-то сказал, или рифма в голову пришла, а потом под нее мысль подбираешь...

— А где больше поэзии — в израильском воздухе или в российском?

— Не знаю. В 60-е годы, безусловно, в российском ее было больше. Но и в израильском она тоже была — ведь государство только-только появилось. Не знаю, это слишком красивый вопрос. А возможностей, обещаний, надежд сегодня больше, конечно, в России — здесь все только начинается. Еще и свободы-то по сути дела нет. В израильском воздухе, к сожалению, висит чудовищная угроза, которая все затмевает. Как только происходит теракт, мы презваниваемся — все ли дома. И если гибнут русские, это, как правило, кто-то из знакомых.

— В ваших стихах много сказано о России: очень много проблем, которые требуют разрешения, и в то же время чувствуется любовь...

— Конечно, любовь. Во-первых, страна великая и несчастная, а несчастные страны всегда любят больше, чем удачливые. Швейцарцы или шведы свою страну вряд ли так любят. И язык у нас великий, потрясающий, мы с детства им дышим. В то же время я очень люблю Израиль, стал абсолютным израильянином, но душа, по счастью, привязана к обеим родинам. Я много ездил по России и ощущаю себя русским человеком. И в Израиль уехал не как сионист — ничего не знал о нем, не владел ивритом. И не из России уезжал, как это делали многие. Просто ощутил, что одна жизнь кончилась и Бог предложил мне возможность второй жизни. Так что все сделал из чи-

стого любопытства — любопытен я, к счастью, по-прежнему, как щенок. Как говорил Курт Воннегут, любая возможность путешествия — это приглашение на танцы от Бога.

— А как вам удается привязываться сразу к двум родинам?

— Так я же живу в этих странах. Если бы жил, например, в Новой Зеландии, она была бы для меня родиной. Но я 53 года прожил в России, сидел здесь, что тоже очень важно: начинаешь очень любить места, где сидел.

— С какими ощущениями вы приезжаете сюда сейчас?

— С одной стороны, ощущение совершенно замечательное — Москва другой стала, люди другие. В 60-е годы мы с моим другом, замечательным психологом Владимиром Леви, на бутылку спорили: он говорил, что по спине узнает иностранца, которые ходили иначе, у них были другие плечи, другой разговор. Сейчас таких людей безумное количество — свобода наконец пришла. По другим городам езджу — они строятся, это замечательно. Но свобода оказалась для России чудовищной нагрузкой, непосильной, скажем, моему поколению. Поэтому моим ровесникам тяжело, на них смотреть очень больно. Правда, в этом есть справедливость — мы же и строили этот лагерь социализма, мира и труда, и ограду к нему тоже строили, и сигнализацию. Со стороны, когда живешь в Израиле, за Россию бывает ужасно стыдно — потому что душой к ней привязан. А состояние боли — это само собой — видишь своих ровесников, несколько поколений, которые на свободе уже жить не могут, как старые воры.

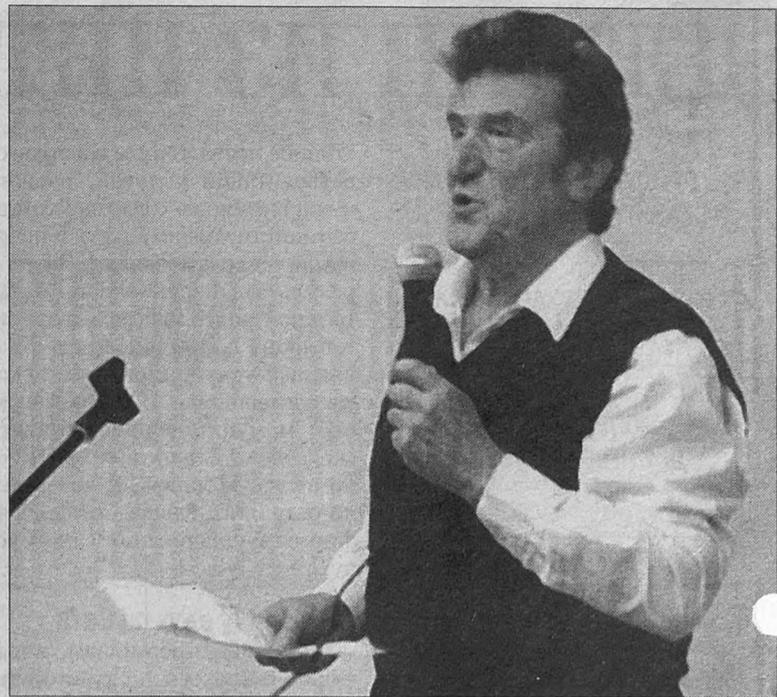
— А вы чувствуете себя здесь и сейчас свободным человеком?

— Да. Но я чувствовал себя свободным еще и в той России, за что и сидел. Во всяком случае, вел себя как свободный человек.

— Вы много говорили о молодом поколении. По сути дела — это и есть будущее. Как вы оцениваете нашу молодежь?

— Не знаю, я с молодежью очень мало дела имею и в Израиле, и здесь. Молодые часто приходят на мои выступления, что меня очень радует. Правда, в небольших количествах. У меня есть подозрение, что они хотят послушать неформальную лексику. В основном же приходят люди, которые знали мои стишки еще по самиздату, то есть не моложе 40 лет.

— Просто в одном из своих стихотворений вы сказали, что



с молодежью можно сделать все что угодно, ибо она «Вторую мировую немного путает с Троянской»...

— Я мало в чем убежден, но в этом — абсолютно. С молодежью, да и со средним поколением можно сделать все что угодно, если зачеркнуть память. А она зачеркивается настолько, что у моей тещи, писательницы Лидии Лебединской, например, недавно спросили, помнит ли она крепостное право. В издательстве «Мемориал» лежат штук 50 первоклассных рукописей о лагерях, но их никто не берет публиковать — никто не купит, а главное, никто не станет читать. То, что было только вчера с нами, ваше поколение уже забыло начисто. Может, это хорошо, но знать-то надо. Везде так — и в Израиле то же самое. Таково благостное устройство человеческого организма — каждому поколению насрать на боли предыдущего: у них ощущение, что они проживают свою собственную жизнь, которая к этому уже не имеет отношения.

— «Бог техники иной, чем и бог науки, искусства бог иной, чем бог войны. А Бог любви слабеющие руки над ними простраивает с вышними». Вы верите, что любовь спасет мир?

— Она не спасет его, но поможет ему как-то существовать. А любовь, я думаю, она превыше всего. Это такая игра, согласны? Мы в ней либо выигрываем, либо проигрываем. А в конечном счете всегда проигрываем и всегда выигрываем одновременно. Но любовь — это один из жизненных механизмов.

— Вам она в жизни помогает?

— Очень. Ой, а как мешает! Но больше все-таки помогает...

— «Мы строим счастье сразу всех, и нам плевать на каждого», — ваши слова. Как думаете, счастье всех гораздо легче, чем счастье конкретного человека?

— Конечно, у нас же было устроено общее счастье — целых 70 лет. И главное, советский человек был доволен — судя по тому, сколько недовольных появилось после того, как возникла свобода. Но по-серьезному, я думаю, счастье сразу всех устроить невозможно. Только принудительное — как в концлагере, когда человек лишен всякой информации и не знает, что делается вокруг.

— Может, тогда скажете, как устроить счастье конкретного человека?

— Я не такой дурак, как кажется, чтобы давать советы.

— А как же тогда насчет строк о том, что «и жизнь идет, и жить охота, и слепо мечутся сердца меж оптимизмом идиота и пессимизмом мудреца»?

— А я чистый идиот и этого не скрываю. Так легче жить — оптимисту. Но с другой стороны, мой друг историк Натан Эйдельман говорил, что быть пессимистом пошло, это очень легкая позиция — на все брюзжать, говорить, что это плохо. И умным тогда прослыть мгновенно, ибо все ругаешь — это очень легко. Быть оптимистом, мне кажется, тяжелее. И более правильно.

— Оптимисты вертят земной шарик, согласны?

— Его вертят сумасшедшие романтики, безумцы. Я не верчу земной шарик — это делают другие люди.

— Какие планы на будущее, если крутить земной шарик не собираетесь?

— Никаких абсолютно. Я буду по-прежнему курить, пить водку, сидеть с друзьями, спать с женой, ездить по миру. И писать новую книжку — обо всем и ни о чем.

— Вы человек в себе?

— Пока в себе, если вы видите. А вообще смотря когда. На пьянках с друзьями, например, я весь наружу — меня даже по носу щелкают, чтобы помолчал. А живу-то в себе, конечно. Правда, в каком-то смысле я публичный человек, поскольку живу, как девушка по вызову: зовут — я выступаю. Но Жириновского во мне нет, Троцкого тоже.

— Вы часто пишете в шуточной форме о конце света. Что это такое, по-вашему?

— Вы мне задаете такие глубокие вопросы, я к ним внутренне не готов. Думаю, вы тоже. Боюсь ли я конца света — не знаю. А что касается смерти — это зависит от настроения, от того, с кем говоришь, сколько выпито... Я верю в переселение душ. Мне вообще-то интересно жить: вокруг замечательные люди, выпивка, масса других удовольствий. Я думаю, смысл жизни — в самой жизни. В игре, которая ей сопутствует.

— Вы считаете, что в жизни велика роль игры?

— Я думаю, что вся жизнь — это игра. Думаю, Бог создал человека для игры. И наш разговор — не исключение: вы играете в журналистов, которые задают серьезные вопросы, а я — в добросовестного ответчика, который говорит всякую херню. У нас есть социальные роли, которые мы исполняем.

«Любовь не спасет мир, но поможет ему как-то существовать. А любовь, я думаю, она превыше всего. Это такая игра, согласны? Мы в ней либо выигрываем, либо проигрываем. А в конечном счете всегда проигрываем и всегда выигрываем одновременно»

